

ПУШКИН – ТРЕНД, БРЕНД и КОНТЕНТ



Арсений Замостьянов

Мы живём в пространстве пушкинской культуры. Наверное, лестно признаваться себе в этом. Пушкинский профиль третий век проступает во многих коренных началах русской жизни. Это — язык, мироощущение, система образов. Но живём мы в ней не постоянно, а урывками, и год от года утрачиваем связь с ней. В каждой новой субкультуре есть частицы, брызги пушкинской культуры, но проявляются и противоположные силы, линии напряжения.

Раз в десять лет Пушкина присваивает массовая культура. К юбилею поэта полагается осваивать бюджеты — и в витринах магазинов появляются кудреватые манекены. В юбилейные сезоны Пушкин превращается в модный бренд и политический слоган. Юбилейные пляски, увы, наоборот опошляют образ поэта. Остаётся уповать, что это необходимая жертва для святого дела популяризации просвещения.

2008 год показал, что не каждый национальный гений в наше время имеет право на государственный

юбилей. Лев Николаевич Толстой, чей барельеф рядом с профилем Пушкина украшает сотни школьных фасадов, несмотря на сценически выигрышный мужицкий костюм и живописную бороду, брендом не стал.

Всё-таки смысл пушкинского юбилея не только в политических заигрываниях с литературой и не только свадебные генералы проявляются в пушкинские дни. В подтексте каждого пушкинского праздника — речи Достоевского, Тургенева и Островского, которым внимали с религиозным трепетом. Вот и С. Булгаков — мыслитель непоказной, знавший толк в философской аскезе, писал не только о Пушкине, но и о смысле юбилейных торжеств: *«Русский народ, вместе со всем культурным миром, ныне поминает великого поэта. Но никакое мировое почитание не может выявить того, чем Пушкин является для нас, русских. В нём самооткровение русского народа и русского гения. Он есть в нас, он — мы сами, себе открывающиеся. В нём говорит нам русская душа, русская природа, русская история, русское творчество, сама наша русская стихия. Он есть наша любовь и наша радость. Он проникает в душу, срастаясь с ней, как молитва ребёнка, как ласка матери; как золотое детство, пламенная*

юность, мудрость зрелости. Мы дышим Пушкиным, мы носим его в себе, он живёт в нас больше, чем сами мы это знаем, подобно тому, как живёт в нас наша родина. Пушкин и есть для нас в каком-то смысле родина, с её неисповедимой глубиной и неразгаданной тайной, и не только поэзия Пушкина, но и сам поэт. Пушкин — чудесное явление России, её как бы апофеоз, и так именно переживается ныне этот юбилей, как праздник России». Запомним эти слова.

Мы думаем и говорим на пушкинском языке. Самыми русскими, самыми простыми и ясными словами современного гуманитарного обихода стали слова «тренд, бренд и контент». Остальные, увы, ещё хуже переварены русским языком. Когда-то и Пушкин поигрывал иностранными словами, обращаясь к ревнителю русского слова Шишкову «прости, не знаю, как перевести». Но Пушкин входил в литературу, когда опасность фундаментального перехода элиты во французское языковое поле была сильнее, чем когда-либо. В период наполеоновских войн Россия стала ближе к Западной Европе; галломания и англomanия у поколений «дней Александровых прекрасного начала» была глубже, чем у их отцов, екатерининских орлов — таких, как старик Болконский из «Войны и мира», как заправские русаки Потёмкин, Орловы, Суворов, Ушаков... Достаточно было политическим ветрам поменять несколько песчинок исторической мозаики — и нашим дедам надолго пришлось бы удовлетвориться заёмной культурой, чужой письменностью, чужим наречием. Расширилась бы и пропасть между элитой и крестьянством — хранителями и творцами фольклора. Даже сегодня самые последовательные либералы (например, профессор Юрий Афанасьев) настаивают на создании целиком подражательной политической культуры, что снова приведёт элиту к увлечению «заморскими, чуждыми странами». Они готовы обходиться без отечественных традиций, без отечественной литературы, музыки, науки. Ничего у них не получится: сегодня вестернизации осознанно противятся народные массы, очень немногим Запад кажется привлекательным примером. Обратите внимание: даже отвратительная поп-культура у нас своя, русскоязычная, а не англоязычная, как, скажем, в стране Баха и Гёте. И Пушкин, которого в Царскомельском лицее называ-

ли Французом, стал величайшим творцом почвенной, русской культуры в Петровской империи. И Петра Великого он воспел за то, что:

**Не презирал страны родной,
Он знал её предназначенье.**

Да, Пётр был европеизатором, и нередко обращался с русской традицией, да и с народом, как повар с картошкой. Но Пушкин прочувствовал, что Пётр сделал Россию сильнее; сломав преграды этикета, открыл для пытливых и деятельных русских умов великие возможности. К тому же Пётр создавал державу воинскую, которая не намерена никому подчиняться, с противником любым готова сразиться насмерть. И рабское поклонение всему иностранному усилилось, когда указ о вольности дворянства уничтожил главный петровский принцип... Элита получила возможность отдалиться от армии, после кратковременного расцвета начался распад дворянства. Похожую болезнь мы наблюдаем с девяностых годов, когда в очаровательную ненужность превратилась уже не аристократия, а интеллигенция, отказавшаяся от принципа служения народу; променявшая долг на вольнолюбивые досуги.

Первое громкое произведение Пушкина было по-французски игривым, но русским по духу. Тогда-то и прозвучали слова: «Там русский дух, там Русью пахнет». Поэт разглядел в родном фольклоре, в далёких безднах истории Отечества нечто более важное, чем Парни и Байрон, чем модный Париж и щепетильный Лондон. Недруги поэмы упрекали Пушкина в потакании народному вкусу, в интересе к фольклору, к лубку, к песням Кириши Данилова. Строгая рецензия «Вестника Европы» надолго запомнилась Пушкину: «увольте меня от подробного описания, и позвольте спросить: если бы в Московское благородное собрание как-нибудь втёрся

(предполагаю невозможное возможным) гость с бородою, в армяке, в лаптях и закричал бы зычным голосом: *здорово, ребята!* Неужели вы бы стали таким проказником любоваться? Бога ради, позвольте мне, старику, сказать публике, посредством вашего журнала, чтобы она каждый раз жмурила глаза при появлении подобных странностей. Зачем допускать, чтобы плоские шутки старины снова появлялись между нами! Шутка грубая, не одобряемая вкусом просвещённым, отвратительна, а ни мало не смешна и не забавна». Именно так воспринималась поэма о Руслане и Людмиле — в качестве непозволительно русской литературы...

После «Руслана и Людмилы» он ещё произнесёт несколько досадных упрёков Родине, но в молодой плеяде, которую позже назовут пушкинской, он всегда будет наибольшим русофилом — под стать старшему товарищу, Денису Давыдову.

В советской мифологии роль Арины Родионовны в становлении Пушкина, конечно, преувеличивалась в лубочном духе. Очень уж хотелось популяризаторам подчеркнуть «связь с народом» — и пускай будет стыдно тому, кто посмотрит свысока на это правильное стремление. Безымянный народ из «Бориса Годунова» — это литературные корни тургеневских крестьян, и многочисленных толстовских мужиков, начиная с Платона Каратаева.

После Пушкина полтора века Россия жила в режиме «литературоцентризма». Литературное переплеталось с общественным, писатели нередко определяли политическую, духовную, идеологическую повестку дня. Это не единственный такой прецедент в истории. Великую роль в Европе в своё время играл Гёте, исключительно важны были для становления норвежского самосознания Бьёрнсон, Ибсен и Гамсун. Гомеровский эпос и классическая древнегреческая трагедия тоже располагали не узкоэстетическим резонансом. Но не будем преувеличивать и приписывать влиянию писателей все историчес-

кие повороты России. Нередко и перво-степенные писатели шли за исторической судьбой, оказывались не творцами, а летописцами и комментаторами реальности. На наших глазах литературоцентризм померк и затух — на это хватило пятнадцати лет, начиная с 1991-го.

О причинах литературоцентризма можно говорить долго. Религиозное сознание в XIX веке было сильно, а авторитет церкви падал. Верили всё больше в прогресс, в просвещение, мучительно определяли отношение к деньгам, к капитализму. К царю и его вельможам многие относились со скептицизмом. Властителями дум, духовными вождями стали писатели. Явление Пушкина определило не только развитие словесности. Мусоргский, Чайковский или Суриков были обязаны Пушкину в не меньшей степени, чем Тургенев или Толстой. Успех русской литературы стал локомотивом для всех искусств и для науки.

Ещё не забыт публикой проект «Имя Россия» (многими замечено, что это — синтаксически неясное наименование, так и хочется его исправить хотя бы на «Имя России»). Пожалуй, уже накануне первого тура интернет-голосования кандидатура Пушкина была самой предсказуемой из нескольких сот представленных в проекте деятелей. Пушкин не святой, он живой и нормальный, «без отклонений», как ни один другой поэт во всей русской и мировой литературе — здоровый молодой весельчак, хохмач, игрок, ловелас, нежнейший муж и отец. Но он мается без веры. Всё его творчество — это исповедь на пути к вере. И он открыто говорит о себе то, что другие скрывают. Он постоянно изучает в человеке, и, прежде всего, в себе соотношение добра и зла. Сердце, совесть — вот главное в его картине мира. «Оставь герою сердце! Что он будет без него? Тиран!». Именно в этом заключается самое существенное различие между западной рождественской и русской пасхальной культурами.

Это знак нашего времени — быстрый переход от гедонистических рассуждений о нормальном ловеласе до упоминания «пасхальной культуры». У тех, кто умело пользуется конъюнктурными клише, речь течёт легко и безбрежно. В огромном наследии Пушкина всегда можно разыскать обжигающе актуальные строки. Вот и на «Имени Россия» прозвучали воспоминания о том, как в дни осетинской кампании представитель России в НАТО получил от приятеля смс-сообщение со стихами Пушкина — «Клеветникам России». Действительно, Пушкин после польских событий на несколько веков вперёд обозначил контуры противостояния России и Запада. И почти двести лет спустя у нас всё те же пушкинские аргументы — воинская доблесть отцов, которую Европа предпочитает неблагодарно (и опрометчиво) забыть.

Из двенадцати деятелей, представленных в финале телевизионного шоу, лишь четверо не имели прямого отношения к политической власти — Пушкин, Суворов, Достоевский, Менделеев. Правда, телевизионные обсуждения и этих кандидатур получились политизированными, а из ораторов только один профессор С.П. Капица проявил себя одновременно и объективным, и сведущим. Из этой великолепной четвёрки самыми бесспорными лидерами представляются Пушкин и Суворов: их свершения хорошо известны миллионам людей, они олицетворяют представления о русском гении — в словесности и в военном искусстве. Если Достоевского и Менделеева можно было бы заменить, например, на Толстого, Ломоносова или Королёва, то без Суворова и Пушкина любой список великих русских людей окажется куцым.

Пушкин, которого Марина Цветаева назвала «Бич жандармов, бог студентов», не станет оплотом консерватизма — культуры, устремлённой в прошлое и нацеленной на анализ и сохранение давно выработанных ценностей. Именем Пушкина вряд ли уместно как дубиной отбиваться от крамолы разрекламированного («раскрученного») уродства массовой культуры или разлагающего декаданса. Пушкинская культура — это не музей, в котором строгие хранители сдувают пылинки с драгоценных экспонатов и покри-

кивают на шумную молодёжь. Дух новаторства, смелости, творческий вызов — всё это нельзя вычеркнуть из пушкинского феномена.

Пушкин первым из русских писателей получил посмертное признание, был провозглашён национальным гением. Каждый из достойных предшественников Пушкина, переживших большую прижизненную славу, после смерти претерпевал испытание забвением, своего рода «сбрасывание с парохода современности». Ломоносов в его поэтической ипостаси, Державин, Карамзин, а тем более Сумароков, Херасков, Княжнин — их репутации не пощадило уже первое поколение преемников. А Пушкин в 1850-е годы значил для России больше, чем при жизни. Да и в XX веке у него было больше благодарных читателей, поклонников и исследователей, чем в период моды на «Руслана и Людмилу».

Из популяризаторов и пропагандистов Пушкина первым следует упомянуть Виссариона Белинского. Он был именно пропагандистом «своего» Пушкина. Пушкина, который, главным образом, исследовал социальные типы, да боролся с крепостным правом и ужасами самовластья. Это был обкраденный, опреснённый Пушкин — впрочем, как и любой пропагандистский образ. Именно белинское социологическое, политически тенденциозное понимание словесности стало фундаментом литературоцентризма, во главе которого стоял «Пушкин в роли монумента». Чтобы литература стала основой духовной жизни тысяч людей, необходимо было добавить в бульон политических дрожжей. И это не сугубо российское явление, достаточно вспомнить предреволюционных французских просветителей или Золя с его выступлениями в защиту Дрейфуса, которые, пожалуй, оказались более долговечными литературными памятниками, чем беллетристика того же Золя. Сам Пушкин произнёс

в одном из наиболее элитаристских своих стихотворений:

**Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв, —
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.**

Такой программой легко отбиться и от Белинского, и от его позднейших последователей. Но сам Пушкин преодолел и эту программу, ушёл от заносчивости.

Воевать с Белинским — дело нехитрое. Можно приписать его влиянию и других писателей с революционным уклоном, все политические и даже экономические провалы вплоть до нашего времени. Набор аргументов против тенденциозного вульгарного социализма давно известен и всё ещё убедителен. Да и сам «неистовый Виссарион» был литератором неосторожным, судорожным, чрезмерно эмоциональным, нетерпящим научности и объективности. Но вышло так, что длинные политизированные статьи Белинского о литературе оказывали влияние на умы. Их читали охотно, несмотря на непривлекательный жанр.

Долгие годы литературоведческой библией для нас была коротенькая статья Ленина «Памяти Герцена», в которой история русской классической литературы попунктно была разложена на большевистскую систему координат. Классика была востребована как воспитатель, агитатор и пропагандист — сам Ленин признавался, что его в своё время «перепахала» книга Чернышевского «Что делать?». И относились к литературе серьёзно, формируя из писателей прошлого своего рода пантеон наподобие ЦК КПСС, в котором, по язвительному замечанию Юрия Нагибина, генеральным секретарём стал Пушкин.

Пожалуй, мы не ошибёмся, если определим дату выдвижения Пушкина на этот высокий пост 1937 годом, когда столетие гибели по-

эта стало важнейшим культурным событием переломного года. Это сегодня представления о 1937-м ограничиваются чёрными «воронками» и ожиданием карающих шагов на ночной лестнице. А тогда для большинства куда важнее был подвиг папанинцев, первое полноценное первенство СССР по футболу и пушкинский юбилей. Общественное представление о предвоенном подъёме, о том, что «жизнь налаживается», «жить стало лучше, жить стало веселее», включает в себя и возвращение русской литературной классики, возведение на пьедестал Пушкина. Нельзя сказать, что в 1917–1937 годы окно в русскую классику для школьников было напрочь заколочено. Освоение классического наследия в советской идеологии всегда преобладало над намерениями «растоптать искусства цветы» во имя светлого завтра. Но сильна была идеология авангарда, предполагавшая если не ниспровержение классики, то снисходительность к потерявшим актуальность делам давно минувших дней.

В первые послереволюционные годы Пушкин интересовал составителей школьной программы как борец с крепостничеством, погибший в схватке с самодержавием. Ценились ёрнические «антиклерикальные» выпады дерзкого молодого поэта, дружба с декабристами. Демьян Бедный сочинил программное (в стихах!) предисловие к «Гавриилиаде», в котором Пушкину была выписана охранныя грамота:

**Он не стоял ещё за власть советов,
Но к ней прошёл он некую ступень.
В его лучах лучи других поэтов —
Случайная и трепетная тень.**

Вполне комплиментарное отношение к Пушкину с соблюдением революционной целесообразности. Главное было — доказать прогрессивность Пушкина в системе классовой борьбы. Он оказывался прогрессивнее Державина, но от Герцена,

конечно, отставал. За рецидивы монархизма Пушкина журили. Разумеется, в школьной программе не значилась «Бородинская годовщина», как и «Клеветникам России». «Такой хоккей нам был не нужен». Школьное литературоведение периода расцвета педологии колебалось между двумя концепциями, выраженными в шуточных студенческих стихах: «Пушкин, Лермонтов, Некрасов — трубадуры чуждых классов» и «Пушкин, Лермонтов, Некрасов — барды угнетённых классов». Уже в начале тридцатых можно было почувствовать дуновение более консервативных ветров. Менялись представления о воспитании, как и об идеальном городе — вместо геометрических, аскетичных панорам конструктивизма возвращались триумфальные арки и античные скульптуры — рабоче-крестьянское воплощение классической Греции и ренессансной Венеции. Улицы таких городов полагается украшать монументами властителем и поэтам. Пушкин стал парадным монументом школьной программы, которая всеми средствами приближала поэта к массовому читателю. Разумеется, это предполагает череду упрощений, искусственную актуализацию. Пушкин и был, и слыл современным, актуальным — адресатом частушки:

**Александр Сергеевич Пушкин,
Жаль, что с нами не живёшь.
Написал бы ты частушки,
Чтобы пела молодёжь.**

Для школы Пушкин — точка пересечения всех гуманитарных дисциплин. Осмысление Пушкина — это всегда попытка цельного знания об истории Отечества, истории искусств и истории литературы. Рядом с «Капитанской дочкой» в пушкинском наследии стоит «История Пугачёва», рядом с «Полтавой» и «Пиром Петра Великого» — исторические исследования об основателе Российской империи. Мы мало внимания уделяем культу Петра в имперской России. А ведь без этого феномена трудно разобраться и в истории XX века, в истории вождизма, явным символом которого остаётся Мавзолей на Красной площади. Петра провозгласили отцом Отечества, это был единственный император, о котором непременно вспоминали

в официальной пропаганде и после кончины. Память о Петре как об основателе государства была палладиумом имперской идеологии. О Петре слагал эпическую поэму Ломоносов, упоминавший Петра и в одах, обращённых к Елизавете и Екатерине. Вступил на эту вытоптанную стезю и Пушкин, не испугавшись упреков в конъюнктурности (Вяземский уже едко высмеивал географические фанфаронады, намекая и на прославление Петра). Слишком важной была для Пушкина тема основания империи; впечатляло, что и через сто лет Петербург «красуется» и строится по заветам Петра. В стихах Пушкин несколько раз упоминает справедливость, благородство Петра, который умел милосердно отнестись к честному вольнодумцу Долгорукову. Но пушкинский миф о Петре не был прямолинейным дифирамбом.

После Наполеона осмысление идеи сверхчеловека стало важнейшей историко-философской темой, а в «Борисе Годунове» Пушкин с православных позиций показал греховность власти. Безусловно, пушкинский Пётр — это великий человек, каким его видели современники генерала Бонапарта. Так уж вышло, что само понятие «великий человек» в те годы связывалось исключительно с образом Наполеона. В «Медном всаднике» это проявилось наиболее очевидно. Пушкин был выше тенденций, он не мог однозначно оправдать кровопролитие ради высокой цели, но и не впадал в морализаторский максимализм, исключая возможность жертвы во имя государства.

Мне запомнился один пушкинский урок из моей школьной жизни. Вели его замечательные педагоги, словесник и историк — Наталья Сергеевна Рушакова и Михаил Владимирович Левит. На совместном уроке истории и литературы (очень уместная форма для разговора о Пушкине!) разбирали «Медного всадника». А ведь эта поэма —

едва ли не самое загадочное из великих произведений русской поэзии. Она вовсе не поддаётся элементарному пересказу и привычному хрестоматийному разложению на систему образов, художественное своеобразие и идейный смысл. Не случайно судьба этой поэмы оказалась негладкой: она не прошла через августейшую цензуру. Что-то насторожило императора Николая — хотя величественные гимны петровской империи не могли не прийтись по сердцу государю. Они не отвлекли от сложного, таинственного конфликта, в котором Пушкин не расставил окончательных оценок — как в «Кавказском пленнике» или «Полтаве», где тоже не было топорного чёрно-белого конфликта, но всё-таки торжествовало ощущение финальной ясности.

«Медный всадник» — очень политическая, идеологизированная поэма, но к ней не могут примкнуть ни сторонники авторитаризма, ни демократы. И тем, и другим в пушкин-

ской вселенной неуютно: многовато гармонии, избыток кислорода. Пушкин не мог примкнуть к фронде, осуждающей государство во славу маленького человека, не мог превратиться в адепта какой-либо «партийной» идеологии. В разных обстоятельствах он испытывал то влечение к вольности, то к крепкой руке государя и государства — а стать приверженцем одной линии не мог. Мешала народная природа пушкинского гения. Об этом писал подвижник пушкинского заповедника С. Гейченко:

«Почему именно к Пушкину обращены взоры молодых и зрелых художников? Пушкин народен. В нём отразились все проявления бытия. Душа поэта проникла повсюду. В нём есть всё, что составляет понятия гармонии, красоты, совершенства, простоты. Он реалистичен во всём, понятен всем, доходчивей всех».

И в эпоху, когда движение души принято называть трендом, образ — брендом, а всё остальное — контентом, пушкинский монумент стоит крепко.